

Денис Грачёв

Песнь о прозрачном времени

Рассказ

Денис Александрович Грачёв

Песнь о прозрачном времени

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43725176

SelfPub; 2019

Аннотация

Рассказ написан в 2002 году во время научной работы Дениса Александровича Грачёва в институте славистики голландского города Гронинген. Создавая докторскую диссертацию, посвящённую проблематике образа автора в советской прозе 20-30-х гг., Грачёв так или иначе фиксирует часть своих научных размышлений в этом небольшом тексте с саркастическим "посвящением сюжетной прозе". Действие причудливой литературной фантасмагории происходит в начале нулевых. Тимофей, мальчик шести лет, едет за своим Желанием в подмосковное Михнево, бесстрашно общаясь по пути с инфернальными сущностями.

Содержание

Посвящается сюжетной прозе

4

Посвящается сюжетной прозе

А его невозможно не любить: посреди елейно-благого неба – солнце, как крупный глоток горячего молока: жарит, подрумянивает голубой воздух, гоняет его туда-сюда, из стороны в сторону, из Москвы в Петербург и обратно, но не яростно, как то́ зимой да осенью случается, а нежно, по-отечески, без акцента, то есть. Да, дорогие мои, только летом всё в этом мире совершенно подогнано, только летом ничего друг другу не мешает и находится в *гармонии* (– видите, мне и такое слово знакомо, невзирая на обманчиво-наивный мой вид. Вот, мол, сказал бы иной досужий физиогномист, совершенно несведущий в тех окольных путях, которыми любого, даже самого несмышлёного природа может привести к мудрости, вот идет себе малыш лет эдак шести, прогуливается без толку и цели и неведом ему смысл слова *гармония*. Ошибаетесь, почтеннейший, в корне ошибаетесь: гармония – это когда внутри одного и того же всё ладится и подходит: втушка к втушке, тыртик к тыртику, так что поспешны и безмерно необдуманно эти упрёки в недомыслии).

Так вот... А с чего это я начал?

Ах да, *лето*. Лето сейчас: солнце светит, как будто дышит – просторно, с напором и серьёзной, не игривой силой, а я, одетый не по сезону, в серое пальтишко, иду длинным скве-

ром к метро. Иду не торопясь, потому что и времени у меня много, и сквер, под натиском порывистого северо-западного сквозняка неровно шелестящий деревьями, как ему вздумается, мал не только для взрослого, который, озабоченно попивая пиво, стремглав проскакивает его на всех парáх, но и для меня, карапуза, так что негоже отказывать себе в удовольствии неспешной прогулки. Нижнюю пуговицу от пальтишка я оторвал и засунул мишке в живот. У мишки, с которым давно не играю, потому что стал большим, есть в животе дырка, старая такая, вековая, и вот в неё-то я и спрятал пуговицу, чтобы когда-нибудь вернуться домой.

Хорошее небо сейчас, ласковое, и в метро спускаться совсем не хочется. Сразу за стеклянными дверьми я несколько времени стою, пока наконец не показывается женщина, чьи мысли вертятся волчком только внутри неё, не выходя наружу. Она идёт походкой мелкой, как дробь, и потому за этими каблучками, гулко цокающими в каменный пол, мне легко успевать. У неё усталое лицо, лицо человека, погружённого в свои мысли не как в Средиземное море, а как в болотце, где неприятный воздух стоит столбом, и в неприятный воздух этот поют старые, развращённые старостью и бездельем жабы; стало быть, лицо у неё человека, *досадливо* погружённого в свои мысли: так всегда бывает, когда мысли не желанны, а неизбежны, и люди с такой гарью в голове менее всего способны заметить подле себя случайного сошагателя, шестилетнего мальчика, на протяжении десяти метров идущего с

ними рядом. Но это для них мальчик идет рядом случайно, а вот для служителя, стоящего у турникетов, такой маленький мальчик не может идти рядом случайно, ведь он наверняка семенит рядом со своей мамой, и потому служитель не удивляется, что малыш с самым что ни на есть уверенным видом пролетает мимо него и ныряет в метро. Бедная тётенька, стоящая у турникета, замотанная нищей жизнью до желтизны в лице и до застывшей на жёлтом этом лице, как корка, маски бесприсветного хамства, если бы ты потрудилась взглянуть в наши лица, в моё и моей случайной попутчицы, миновавшей вверенный тебе турникет стремительно, как хороший пловец преодолевает невысокую волну, если бы ты потрудилась даже не взглянуть, но хотя бы взглянуть в наши столь несхожие лица, если бы тебе пришло в голову оглянуться и заметить, что мама и сын, ставшие таковыми по воле случая на два десятка скоростных секунд, только-только отойдя от турникетов, сделались совершенно не знакомыми друг другу людьми: мама, вспомнив нечто особенно горькое, крепко-накрепко сжала губы и остановилась с глазами, полными то ли презрения, то ли просто мольбы к каким-то невидимым людям, а мнимый сын от греха подальше, пока застывшая мама не обнаружила рядом с собой подозрительно остановившегося чужого сына, затрусил на противоположный конец вестибюля. Если бы ты заметила всё это, несчастная и злая, если бы швырнула мне в лицо гнусавый свой, нервозный вопль, если бы, обиженная судьбой на девять баллов по шкале Рих-

тера, ты отыгралась за свою подлую униженность на мне, ребёнке, заподозрив нечистое в одиноком моём фланировании, и отправила мальчика домой, к истинной маме, как было бы всё иначе, как изменился бы мир, а точнее каким бы неизменным, каким бы неизменно-регулярным, величественным и не посрамлённым в своей регулярности остался он! Но не было тебе озарения, неблагословенная, упакованная в убогую свою вытертую униформу, как в хлопчатобумажный пожизненный гробик, не было тебе озарения и отныне и вовеки ни один его отблеск, ни один его троюродный внучатый племянник не снизойдёт к тебе в твою мягкую могилку и не пребудет с тобой.

Из тоннеля поезд выбрался рывком: как всегда, почти неожиданно, охваченный высокой температурой ненужной спешки: издали приближался, блестя коварными жёлтыми глазками, симулируя медлительность, а потом, подобравшись к горлышку тоннеля, внезапно, одним толчком, выпрыгнул, как кобра. Другой мальчик, деревенский пузан с наливными щёчками, в тулупчике, шапке-ушанке и с совочком для снега – клад искать – испугался бы, прижался к маме, дородной и пучеглазой, захныкал – а мне хоть бы что... Только при чём здесь тулупчик и совок для снега: ведь лето сейчас, и даже я в пальтишке, которое старые старички называли смешным словом *демисезонное*, смотрюсь нелепо? Вот так всегда, задумаюсь – и не успеет иной до трёх сосчитать, как опрометью мысль прыснет не разбирая пути, так

что между *один* и *три* не два поместится, а целых пять дней пути на оленьих упряжках сквозь вьюгу и листопад. М-да, всегда для меня это загадкой было – как это люди умеют думать об одном и том же, как это все другие думы стоят в сторонке, почтительно сняв кепочки, и не мешают думать своей подружке? Неужели не интересно им забежать вперёд и подумать о том, о чём она, пентюшка, подумать ещё не успела; разве не интересно увидеть, как она в смятении собьётся с мерного своего шага, как предоставит на потеху благодарным зрителям шагательно-двигательное ассорти: аллюр, галоп, рысь?

Ну всё, довольно, сейчас как раз нужно, чтобы был... *тверде́й дух*¹! А с твёрдым-духом и мысли все как по линейке. Вообще-то в метро мне всегда спокойно от этой скользящей вокруг темноты и оттого, что пространство, совершенно приручённое внутри этих просверленных сквозь землю дырок, испаряется прикосновением поезда стремительно, как кипящее молоко. Да-да, всегда спокойно и безмятежно я чувствую себя в метро, но теперь, конечно, немного волнуясь, и ладошки у меня часто становятся влажные, так что часто приходится их вытирать о брюки. Я слегка привстаю, чтобы разглядеть в противоположном окне своё лицо. Вот оно. Ничего особенного: глаза, уши, рот, носик – всё на месте, а главного-то, бледный я или нет, видно ли со стороны, что я всё же немного побаиваюсь, того не разглядеть в тём-

¹ Возможно, опечатка в оригинальном тексте вместо «твёрдый».

ном хрустале.

Вагон полупустой, люди расселись реденько, вразвалку, кто-то даже поставил на сиденье две крупные сумки, из которых выглядывают усы зеленого лука и свернутая в трубочку газета, и эта редкость люда позволяет ему друг к другу приглядываться, то есть как бы даже оправдывает тех, кто мчится к центру города налегке, без занимательной литературы, в их предосудительном для переполненного вагона присматривании и приглядывании к незнакомым, к совершенно посторонним людям. Вот и бабушка, сидящая неподалёку, – она заприметила меня сразу, я бы сказал – оживлённо-метко заприметила, заранее предвкушая, как будет смаковать мои всё ещё неточные детские движения, как умилился моей вертлявости и непосредственному жесту – вытертому тыльной стороной ладошки носу. Но ничего этого не воспоследовало – ни вертлявости, ни влажного запястья; если что и было из этого списка, то только нос, нос сам по себе, не дающий в надменности своего высокомерно-чистого дыхания никакой надежды для услужливых ручек, охочих до антисанитарии. Бабушка – чёрный войлочный беретик, развязно прислонившаяся к её бедру черная сумочка, похожая на кочан варёной капусты – несколько времени исправно ждала, как я задвигаюсь положенным малышу образом, но, увидев, что дело ограничилось кратким обозрением внешности в противоположном окошке-зеркальце, решила взять инициативу за рога и, углубившись в складки кожезаменительных капуст-

ных листов, после минуты монотонных поисков выудила на свет Божий мальчик-с-пальчика, завёрнутого в синий гофрированный фантик. Она ничего не сказала, а только подбадривающе подмигнула и протянула его мне.

Ох как не хотелось мне, бабушка, брать конфетку, ведь я помнил, как Серёга рассказывал в детском саду о не известной мне девочке из соседнего с ним дома, которая, приняв от проходившей мимо старушки такое соблазнительное на вид шоколадное лакомство, съела его не откладывая в долгий ящик и тут же умерла. То же и Димка Моторин рассказывал, а *в седой древности*, когда я ещё ходил в среднюю группу, один мальчик, имени которого мне теперь ни за что не вспомнить, поскольку он давным-давно переехал в другой район Москвы, возбуждённым шёпотом, обрывающимся под порывами рвущейся на волю фантазии, повествовал о бесшабашном ребенке, чья любовь к сладкому обратила его в аналогичных обстоятельствах в жука. Но теперь я уже большой и понимаю, что маленьким смерть не кажется удивительной и они вместо неё, такой скучной, а значит вполне естественной и очень даже правдивой в подобном рассказе, выдумывают превращения и разное ненастоящее волшебство.

Я поступил *половинчато*: я огорчил и не огорчил бабушку. О том, что я не огорчал её, знал только я, о том же, что я огорчил её, знали мы оба. Я принял её дар, обхитрив врага и обойдя его западню, но не дал умилиться живописной кар-

тиной того, как этот пострел – вот ведь живулька! – с жадностью сдёрнет фантик, схватит маленькими пальцами карамельное тельце в шоколадной глазури и целиком отправит себе в рот; а там, кто знает, может быть, и повезёт, может, несмышлёныш перепачкает себе от жадности рот или, того лучше, щёку размякшим шоколадом, и вот тогда-то настанет час триумфа: снисходительно-укоризненного качания головой, уместных наставлений, которые, пока еще рука с конфеткой тянулась к мальцу, спешно отряхивались от нафталина – того, словом, неповторимого букета ощущений, что порождается видом вспышки чужой невинной страсти, как демиургом, вызванной тобою самим столь дешёвым и благопристойным образом. Но я огорчил и не огорчил бабушку, не дав ей повода ни для лукавой укоризны, ни даже для умиления: я просто взял конфетку, сказал «большое спасибо» вместо обычного «спасибо» и положил её себе в карман пальтишка. Я знал, что она ещё сослужит мне службу. На следующей станции я поспешно вышел, подождал следующего поезда и поехал дальше.

На воздухе мне стало спокойней: во-первых, небо, тихой постепенной сапой переходящее в космос, наглядно демонстрирует тебе ничтожный масштаб не только твоих волнений, но и тебя самого, такого маленького, что без подзорной трубы тебя не заметить даже с Луны, не говоря уже про альфу Центавра, а во-вторых, толпа тел, намного превышающих твоё своими размерами, которая разными потоками

циркулирует вдоль и поперёк вокзала, заставляет задуматься о том, как бы не быть преждевременно растоптанным чужими невнимательными ногами.

И я шёл очень быстро, витками и кружочками, уворачиваясь от чужих ног и не пересекая своей детской меленькой походки с крупными, безжалостными, взрослыми походками самозабвенно спешащих людей. Прилепливаясь попеременно то к одному, то к другому, то к третьему шагателю, я доплыл до знакомого поезда, просеменил до конца его, туда, где обычно меньше всего пассажиров, и вплыл потупившись в тёмный, как берлога, вагон. Вернее, был это не совсем поезд, это было особое ответвление генеалогического древа поездов – электричка, а знакомство наше объяснялось несколькими путешествиями, которые мы с мамой проделали на ней некогда, во времена оны, когда дни были быстролётны и беззаботны и мама почти всё время жила рядом.

До отправления оставалось довольно много времени, и вагон был почти пуст. Я сел на первую скамейку поближе к окну и начал разглядывать свои ботиночки. Красивые были ботиночки, когда их только купили: глянцевые, блестящие, в ясный день солнце без труда высекало из них искру. Шли, бывало, ботиночки по улице Радужной, сворачивали на гудящую и дудящую пребольшую улицу Енисейская², и на высокие деревья вдоль маршрута моего фланирования слета-

² Улицы района Москвы, где Денис жил с сыновьями в начале 2000-х (квартира находилась на Радужной).

лись любопытные птички, чтобы с доступной их глазу высоты рассмотреть сверкающую вышагивающую красоту, а разные мелкие насекомые, уверенные в своей увёртливой стремительности, подлетали и поближе, к самому моему носу, дабы чрез свои фасетки восхититься десяти тысячам бодро топающим чёрным ботиночкам, с носиком острым, как у бриганины, с белёсыми новенькими шнурочками, с тонкой и упругой подошвой. Даже по лёгкому, жарой разморённому асфальту идти в них было легко, даже по каше-малаше из разнокалиберной флоры, которую осень всё переваривала с помощью дождей и туманов и никак до самой зимы переварить не могла. Но прошла осень, минула и зима: ботиночки, успевшие повидать уже коварные лужи, неожиданно проваливающие ногу до самой щиколотки, и живые вымоины трепещущей густой жижи, и прыжки сразбегу в песочницу, и катание с ледяной горки, добрались до весны изрядно погрустневшими, растерявшими не только *былой*, но и вообще весь свой лоск, и не могли более рассчитывать на внимание даже самонаименьшей жужелицы. Перестав быть новыми, они давно лишились права быть моими конфидентами, с полунамёка схватывающими мысли и фантазии, на самом пике их резвости существующие ещё в виде не выверенных твёрдой формой туманностей, однако здешняя тоска ожидания в сочетании с приглушённым гулом голосов, звучащих как бы во сне, открыла в них второе дыхание, и вся горечь моего несуразного детства, кропотливо копившаяся годами

в узелочке под сердцем, вдруг хлынула им навстречу, моим ботиночкам, товарищам моим по бесприютной оставленности на растерзание хитрой и беспощадной жизни. Я заплакал, как девчонка, отвернувшись к окну и уткнувшись в воротник пальтишка, потому что одинокий плачущий человек, особенно если это маленький мальчик, привлекает, увы, внимание, делая себя слишком лёгкой добычей для чужой жалости, а этого мне хотелось избежать изо всех сил. Вот поэтому-то я дал себе выплакаться, но сделал это по всем законам конспиративной науки: укрывая всхлипы толстой тканью пальто, вытирая слёзы быстро и бесследно, очищая разбухший от излишней влаги нос размеренно, как бы в целях профилактики и гигиены.

А между тем людей прибывало, и вот уже с исчезновением последнего кристаллика соли, который смахнул я уверенно-небрежно, будто случайную соринку, рядом уселся грузный дядька с замусоленной газетой и с тяжёлыми запахами табака и пива. Впрочем, простите, дорогие читатели, неуместную церемонность: только ради красного словца говорю про эти запахи «тяжелые»: ведь мама так пахла в последнее время очень часто, так что если и не привыкнуть, то во всяком случае свыкнуться с ними я уже, разумеется, успел. Дядька не замечая меня раскрыл самую скучную вещь на свете – несвежую газету, – пошарил по странице воспалёнными глазами и, зацепившись наконец за не видимую мне колдобинку, стал неопрятно хлебать какую-то статью, судо-

рожно поводя время от времени несатыми красными глазами. В том, как они поглощали её, было нечто волчье, жадно-нервное, готовое превратить перестук железных колес в охотничью гонку за не истлевшими пока изюминками новостей, гнездящихся ещё, возможно, там и сям на поверхности этого полиграфического трупa, и такое подобострастное внимание к беспрокому потоку печатной болтовни меня, разумеется, воодушевило и наградило новой, обогащённой слезами уверенностью в своём предприятии: низкая маета пустыков, маскирующаяся под сегодняшнее, нужное и здешнее, прочнее всего охраняет человека от того роскошного одиночества, в котором становится возможным беспощадная наблюдательность к своим ближним или ближайшим – ну вот хотя бы к шестилетнему малышу с тобой рядом, который упрямо выглядывает жар-птиц и развесёлых оловянных зайцев в вагонном окне, с чьей прозрачностью вполне мог бы посоперничать медвежий пузырь.

А между тем, наполовину наполнившись разномастным людом, поезд вздрогнул, крякнул, выпустил из своих подземелий несколько ворохов свистящего секретного пара и стал сначала мелко-мелко, а потом всё крупнее и *масштабнее* перебирать ножками, чем дальше, тем больше переходя на породистый галоп. И уже тут, в самом начале своего путешествия, задумавшись и подъяв очи горё, я заметил её. Вровень с остальным потолком затянута серебристой пылью, неприметная, как мышь в золе, сжатая в комариный ку-

лачок, она притворялась ничем, пустячком, пустотой, никудышним, бессмысленным и безопасным проколом в сплошном покрове вагонной крыши, эта злая дырочка, – но какой смысл обманывать человека с проплаканными глазами: ведь ему благодаря непорочному возрасту и обильно пролитым слезам видно гораздо больше, чем рядовому потребителю «Московского комсомольца», к которому действительность не имеет счетов и по большей части повернута изнанкой. Но я и дырочка мигом заприметили друг друга – не успел Серый волк, стремительный, словно вспышка молнии, выполнить наказ Ивана-царевича, как мы смекнули, что к чему и произвели *надлежащие выводы*, делая в дальнейшем вид, будто не замечаем друг друга, но оттого не менее пристально продолжая искоса во всех деталях обозревать потенциального врага.

До поры до времени я сидел ничем особенно не озабоченный, разглядывая то березку, то осинку, то какой-то ледащий винегрет из домов и мусора, и даже начал покачивать ногой в такт биению колёс. Дядька рядом, насосавшись новостей до отвала, задремал, тонко всвистывая воздух носом и толсто выпуская его через полуоткрытый влажный рот, а большая щека его, поросшая редкой свиной щетиной, легла рядом с ним на плечо, как своевольно выползшая из чана квашня. Мужичья дрема была кроткой и целительной, и никто не был в силах помешать ей: контролёр в дневных электричках редок, словно венценосный журавль; в летний день судьба

располагает его под тентами на окраинах Москвы в обществе охлаждённого нарзана или пива. Он бережёт себя для ночных баталий с набитым под завязочку людом, со стремительным азербайджанцем и ещё более стремительным чеченцем, не желающими тратить свой рубль на сомнительное удовольствие проехаться полчаса в засранном вагоне, а сейчас, контролер знает это, буде решит он прогуляться по полупустой электричке, ему непременно захочется вздремнуть – да-да, ему бы захотелось упасть рядом с моим соседом и ввериться Морфею со всей безразмерной преданностью. Но он, скаредный, берёт покамест наш и свой покой, лелея из своего далёка тутошнюю скуку. Жидкие деревья, почти не отличимые от истёртого серостью стекла, вздымались и опали в неровном ландшафте, как вздохи и выдохи, и никакое солнце, роскошно декорирующее тени и их самих, и лысую землю с ними рядом, не было способно затушевать их скучную сирость; сваявшаяся колтунами трава, пристрастившаяся к активной углекислой турбуленции, напирала на рельсы, хватая поезд за ноги, а в том, что в старых книжках называлось небом, беспорядочно бурлила редкая рябь птиц: грустен подмосковный пейзаж, грустен и безотраден, но ничего лучшего окно электрички не показывает, поэтому остаётся смириться с судьбой и покорно подставить ей на отсечение полтора драгоценнейших часа моей жизни.

Мы проехали уже десять или двенадцать станций, то есть добрых три четверти пути, когда вдруг захотелось пи-пи.

Ну захотелось и захотелось, бог с тобой, большой уже мальчик, как-никак, можешь и потерпеть, тем более что в электричках туалета нет, это любому карапузу известно. Через две станции, однако, мочевого резервуар уже разрывался, почувствовав себя *хозяином положения* и Иваном Грозным на царствии, встав под животом колом, не давая ни согнуться, ни расслабиться. Ну сволочь – выброшу тебя собакам. Я осторожно встал и сквозь сонный вагон, где по кругу вращался гулкий шум от немногих бодрствующих, прокрался в тамбур, а потом – в межвагонную сцепку, и пока я стремительно выуживал затвердевшего моллюска, пока со сдерживаемыми стонами удовольствия опрыскивал на протяжении одного километра железнодорожное полотно, злая дырочка, оставленная без присмотра, пользуясь всеобщей летаргией, заработала-заработала. Дырочка выцедила неизвестно откуда, из какого-то прихлебательского измерения, паразитически присосавшегося к трём легитимным нашим, своё нечто.

Замыкая изнемогшего своего слизняка пуговицей, а потом «молнией», я уже чувствовал горечь в сердце и даже подлый страх, принявшийся из своего невыразимо далёкого космоса поглаживать меня по темечку мертвящим холодком. Я почти видел, как сквозь дырочку выдуло старушку, сухонькую, тонкую, как костяная игла, не суетливую, но и не медлительную, бережно обёрнутую в неновое и чистенькое пальтишко, в чёрном войлочном беретике, улыбающуюся вполсилы тусклой луноподобной улыбкой – словом, я

почти воочию увидел ту самую бабушку, что всучила мне двумя часами раньше своё коварное лакомство. Она повела плечами, расправляя занемевшие в путешествии косточки, и нечаянно задела моего соседа, уже совершенно размякшего от сладкой дремоты. Увы, люди, подобные ему, не только занебесно, фантастически, *обескураживающе* черствы к незнакомому, но близкому, они так же головокружительно нечувствительны к тому коварно-опасному, что закутывается порой – в драматических целях – в покровы вызывающей незащитности и чуть ли даже не трогательно-наивной чистоты.

– Ты бы это, бабка... поосторожней, – пробормотал он хрипло, с красными белками вынырнув на мгновение из потока дремоты.

– *Neemt uw mij niet kwalijk, schatje*³, – залепетала бабушка, с деланным испугом приокруглив чересчур молодые для её возраста глаза, и заполошилась вдвое быстрее, делая вид, будто вот-вот уже, собрала свои косточки, из коих песок так и сыплется, отодвигаюсь от тебя, любезный, к стеночке, в которую и так телом твоим грузным втёрта на целый вершок.

Пассажир открыл было рот, чтобы выпустить какое-то слово, но твёрдая запоздавшая мысль стукнула его изнутри по лбу, и он, повозив ещё несколько глазами по окрестному

³ Прошу извинить меня, детка (искаж. голл.). Фраза по-голландски звучит неестественно: *Neemt u mij niet kwalijk* – выражение очень формальное, *schatje* – предельно фамильярное обращение (к ребёнку или любимому человеку).

пространству, снова медленно оплыл, как сторевшая свеча. И вот тогда-то в воздухе запахло жареным: уж кто-кто, а я выучил этот запах наизусть, до рези в голове, так что меня из середины сна безлунной ночью можно им вызвать, когда мама, дипломированный специалист по вызыванию этого зловещего аромата, начинает нарезать при одном ночнике круги по комнате, и всё быстрее кружит, почти танцует, потом уже совсем танцует, потом танцует так, как не танцует никто, нигде и никогда, и наконец, с волосами, прилипшими к щекам и губам, падает на колени и раздражается беззвучным икотным смехом, удушая его прихваченной походя подушкой. В последние месяцы мама всё время была такая странная и страшная, и запах жареного, кажется, признал нашу квартиру своей усадьбой – так надо ли удивляться, что всё во мне вздрогнуло и ахнуло, когда я обнаружил его поблизости. А через дырочку между тем, через эту дырочку, безразличную, увы, и к ругани, и к пороху, просочилась ломтик за ломтиком муха. Она вздохнула, принаравливая задубевшие лёгкие к новому воздуху, вымыла лохматыми копытцами бородатое лицо и, спланировав со своей вышины долу, сразмаху укусила бывшего моего соседа в лоб. Он, недотяпа, и глаз открыть не успел, не то что охнуть, он выпал из своей ручной, приручённой дрёмы в нечто блистающее, безжалостное, опасное и умер не успев перевести дыхания.

Бабушка же осторожно вывинтилась из-под обмякшей туши и мелко, твёрдо зашагала ко мне. Но вот тут наконец

мой магический глаз, взиравший до того безучастно на всю эту стремительную мизансцену с околосемных высот, набрал в лёгкие воздуха и заорал что есть мочи прямо мне в голову: «Беги! Беги, дуралей!» И пока бабушка не видя, а только чувствуя меня, шла по вагону, я дёрнул изо всех сил прочь отсюда, дунул так, что только пятки засверкали, но, не пробежав и двух шагов, уткнулся в дверь, начал рвать и рвать её до судорог в предплечьях и так бы рвал её в самозабвенном вдохновении страха до самого Михнева⁴, если бы не услышал под ухом вкрадчивый шепоток:

– Чего это ты, милый? Помочь тебе? – от которого, не додышав тяжёлого вдоха, обмер – не по-современному обмер, полуобозначив в широко раскрытых глазках моментально тающий флёр декоративного испуга, а основательно, по-старинному, так, что *кровь в жилах застыла*. Словом, я так и застыл как вкопанный, враз обмелев на все чувства, кроме одного, огромного, как «Титаник», влившегося в меня прямо по форме, – ужаса, – и тот холод, что накрепко стиснул меня, показался мне несомненным признаком надвигающейся гибели.

– Ну что же ты, пострелёныш? – ласково спросила бабушка, так же ласково, но крепко сжимая мой рукав. Муха у неё на плече сидела с неподвижностью сфинкса и своими излишне усложнёнными глазами, казалось, внимательно изу-

⁴ На даче подруги семьи (художницы Аси Ф.) в Михнево Денис часто бывал в гостях.

чала моё застывшее пепельное личико. – Бабушка ведь старенькая, бабушке тяжело гоняться за тобой по всему поезду. Так ли, голубчик?

Однако время ею было безнадежно потеряно: ей бы не рассусоливать и не гуляя вокруг да около запечь меня без лишних слов в печке и проглотить целиком. Чтобы потом только косточки выплюнуть. А она, от перепада атмосфер, что ли, от разности в гравитационных полях здешнего и тамошнего миров, или, кто знает, от сознания собственной безграничной всесильности, – начала в неверной тональности – чуть выше, вроде бы? – чего-чего, а слуха у меня и правда нет – и, думая вкрадчивым шипением уплотнить мой ужас, заставила подтянуть его с краев и обмякнуть ровно в той мере, чтобы дать мне возможность, еще не осмелевшему, но уже начавшему собираться с мыслями, выпалить прямо ей в лицо:

– Скажите честно, вы – Баба-Яга?

Она не опешила, но и не занялась благородным гневом: её нечеловечья мудрость надёжно хранила её от человеческих эмоций.

– Странное выросло поколение, – сказала она призадумавшись и обращаясь не ко мне, а куда-то вбок – должно быть, к своей неподвижной мухе с непроницаемым лицом, – задиристое и чересчур отважное. Они, глупыши, полагают, что, стоит кошмар назвать кошмаром, как он незамедлительно развеется. – Нет, малыш, мы не в сказке. Оглянись, во-

круг нас – жизнь, самая что ни на есть кипучая и грозная, и в этой самой жизни магические формулы значат гораздо меньше, чем законы жанра. А законы жанра таковы, что, если одинокий маленький мальчик, пусть даже с сердцем, полным беспримерной отваги, едет в сторону тёмного леса, ему суждено пропасть.

И с этими словами она сжала мою маленькую тёплую ручку своей хладной дланью – сжала и принялась сжимать всё крепче, и чем сильнее она её сжимала, чем менее эластичной становилась её упругая ярость, тем ближе к сердцу подбирался лютый холод, излучаемый бабушкиной рукой. Или даже не так: стужа овладевала моим тельцем без натуги, играючи, как бы проехавшись по мне с горки, и оттого, что её дыхание, едва не коснувшееся сердца, показалось мне почти *светлым*, я вздрогнул и быстро-быстро залепетал – сглаживая окончания; уничтожая те самопонятные фрагментики слов, которые могли попусту растратить столь драгоценное сейчас время; сдруживая невозможные грамматические формы. Тяжело бежать наперегонки со смертью, ещё сложнее переигрывать по скорости невозможность остаться живым:

– Я всё это понимаю: вам так надо, чтобы меня не стало. Я понял, что без этого вас как бы самой нет. Я это ещё по конфетке различил. Но мне обязательно нужно до Михнева⁴, без этого ничего не получится, то есть не выйдет. Без Михнева подвига не будет, а мне он обязательно нужен. Мне

нельзя без подвига, потому что мама не поймёт ничего без подвига. Она ведь так и останется как была, а как была оставаться ей самой очень плохо. Опасно, понимаете? И не только маме – и всем от подвига станет лучше.

Своим аграмматическим лепетом я испытывал её терпение, я юлил своим заборматыванием во имя спасения, и старое это существо, к счастью, оказалось не настолько прозорливым, чтобы различить за моим петлянием уловки отчаявшейся хитрости. Наверное, в тот самый миг очи бабушкиного разума одним щелчком мизинца закрыл *Бог* – так мама называла какое-то атмосферное колыхание, с которым, как я понял, не сладить никому.

– Ну-ну, зачистил, – недовольно затрясла старушка гладко прибранной шевелюрой, как бы стряхивая с себя извергнутые мною сор, пыль и труху. – Сил нет слушать эту ахиною. Взрослый мальчик, вроде бы, – что, мама тебя не учила изъясняться последовательно?

– Нет, – выдохнул я облегчённо. В таких разговорах победы гнездятся в передышках, и бабушкин вопрос разорвался надо мной с живительно-благословляющей силой праздничного салюта. А для меня этот праздничный салют был и без пяти минут милующим. – Нет, мама очень редко со мной разговаривает. Вы поймите правильно, я ни в коем разе не жалуюсь, но у мамы всегда оказывается слишком много дел, чтобы обращать на меня внимание. В конце концов, это не упрёк ей – человек шести лет прекрасно может позаботиться

о себе и сам. У человека шести лет должно быть достаточно дел, чтобы не досаждать маме и не отвлекать её разными малопримечательными пустяками.

– Стоп, – сказала бабушка. – Хватит меня забалтывать. В твоём возрасте естественно быть проворным, но не нужно пытаться сыграть на прыткости своей мысли и оставить меня в дураках – правила здесь задаются мною, и потому, будь милостив, возьми свою мысль под уздцы и заостри внимание на слове «подвиг». Это покажется странным – во всяком случае, для тебя, несмышленного карапуза, – но мне весьма важно знать, насколько опрометчивым было это словцо, вылетевшее в горячке бессознательной детской болтливости из твоих безрассудных уст.

– Нет, бабушка, тут и не пахло безрассудством, – ответил я твёрдо, поскольку моё смекалистое малодушие радо было почувствовать себя обнадёженным, когда мрачный холод откатился от сердца и цепенил теперь лишь предплечье, властно сжимаемое старухой, – нет, нет и нет, – ответил я жалобно, если не сказать умоляюще, коварной мухе, которая по видимости понимала мизансцену гораздо глубже своей наперсницы и в холодной недоверчивости взирала на меня с жутковатым крысиным оскалом на лице, – я не случайно произнёс слово *подвиг*: те книги, что читались мне бабушкой и папой, дали достаточно поводов, чтобы в совершенстве изучить характер и повадки этой коварной лексемы. Увы, у меня нет меча, а в округе не живёт ни одного даже захудалого

дракона, отсечение неразумной чьей головы могло бы пройти по ведомству упомянутого деяния. Мой возраст сделал бы комичным освобождение томящейся в замке принцессы, а поход за тридевять земель в поисках молодильных яблочек грозил выглядеть чистейшим фарсом. Поэтому-то я решил один поехать в Михнево, на дачу нашей знакомой, Аси, где в это время никто не живёт, и, пройдя по пути к ней через дремучий лес, где, как известно, обитает Серый волк, находиться там до тех пор, пока не исполнится моё Желание.

Бабушка слушала меня слишком внимательно, чтобы ответить сразу, она была достаточно благодарным слушателем, чтобы с полглотка и пол-укуса определить мою речь как имеющую консистенцию не жидкого супчика, но хорошо прожаренного бифштекса, переваривание которого – как выразился бы мой папа, писатель-неудачник с претензией на *стиль*, по маминым словам – способно выкрасть из субсидирующего нашу встречу хронохранилища изрядный ломоть концентрированной темпоральности. Словом, она не торопила своё решение, давая ему вызреть, и, как любой решительный и мудрый человек, заранее предвкушала неожиданность его рождения. Муха же некоторое время сидела невозмутимо, но потом медленно обернула к бабушкиному уху свой липипутский хобот и утробно зажужжала.

– Да, действительно, – сухо поинтересовалась бабушка, полуповернувшись к мухе, а меня оглядывая искоса сквозь ледяной прищур напускного недовольства, – о каком это же-

лании говоришь ты, так проборматывая упоминания о нём, словно я не один год просидела в библиотеке за изучением твоей подноготной?

Я стыдливо потупил глаза. От смущения я замолк будто в рот воды набравший. **Я горестно и смятенно наморщил лоб,** борясь с собой.

Так это должны были оценить приметливая бабушка и её прозорливейшая зверотень.

Я опустил глаза, неуверенный, что безжалостно-внимательная парочка не заметит в них внезапную искру торжества, оттого что беседе, опрометчиво устремившейся в прикрытую неряшливо скважинку умолчания, не останется ничего иного, кроме как заветвиться по услужливо выложенным прокрустовым желобкам искусственной дельты. **Я замолк,** чтобы дать торжеству остыть до того градуса, от которого безрассудство поспешности воспитывается в осмотрительную ловкость. Наконец, **очи горé и омрачённое морщинами чело** должны были убедить моих собеседниц не только в неслучайности моего потаённо-неумелого умолчания, и не только в обескураживающей растерянности правдивого мальчика, неопровержимым отсутствием какого-либо алиби припёртого скрупулёзными дознавателями к стенке – эта фаза с волнообразным циркулированием на моём лице несуществующих эмоций давала им время, чтобы почувствовать себя заинтригованными, а значит добровольно желающими двигаться в своих решениях вдоль тех вешек,

которые загодя были заботливо расставлены мною.

– Ну-ну, молодой человек, – нетерпеливо сказала бабушка, – не нужно тянуть время в надежде на волшебников и фей, сваливающих с неба. Авторитетно могу заявить, что, до тех, по крайней мере, пор, пока здесь нахожусь я, ничему подобному приключиться нет никаких шансов. Если уж ваша мама столь неозабочена вами, в детском-то саду вас должны были учить, что старшим следует отвечать правдиво и по существу?

– Да, – прошептал я, и в той нерешительности, с которой я взглянул на ведьму, наверняка был глянец невинности, терзающей саму себя: вытравленное торжество сделало мою скорбь лишь более медоточивой, что в данных обстоятельствах было скорее кстати. – Но... стоит ли?.. Это моё Желание слишком *ребячливо*, – невозможно было отказать себе в удовольствии щегольнуть этим нафталинным монстриком! – чтобы выдержать проверку вашей строгостью.

– Дитя мое, я не собираюсь карамельными речами создавать иллюзию доверительной беседы и терпеливо приободрять вас к выдаче малоценных тайн. Позволю себе напомнить лишь, что у вас вряд ли есть выбор.

– Вы правы, – ответил я, и, на счастье, эту банальность удалось столь ровно заштриховать пронзительно-трогательной, почти персидской в своей смиренной витиеватости печалью – вива тебе, виртуозный экспромт! – что не оставил на ней кляксы и мой слишком скоропалительный взрыв прав-

дивости: – Вы знаете, я твёрдо верю, что после встречи с Серым волком, останусь ли я в живых или миру придётся коротать век без моей особы, лето начнется второй раз.

– Что? – спросила старушка, и я в своём трансе застенчивости не без удовольствия отметил рядом с её лицом округлившиеся от удивления фасеточные вежды.

– Я знаю, что, если мне суждено встретиться с Серым волком, завтра, как и два с половиной месяца назад, снова будет первое июня, – упрямо повторил я, теперь уже без боязни, строго глядя прямо в водянистые бабушкины глаза.

Она призадумалась, а потом вздрогнула. Её ледяные пальцы отпустили мою руку и поправили за ухо выбившуюся прядь.

– Сумасшедшее растёт поколение, – сказала она как бы в пустоту, а на самом деле обращаясь известно к кому. – Сумасшедшее и непоследовательное, – и, высказав эту свою нелепую максиму, резюмировала: – Вот что, дитя моё. В каждом правиле могут быть свои исключения, так же как в любой достойной вещи есть строки, перешагивающие её жанр, – так вот, не надеясь, что моя метафора для тебя прозрачна (прозрачна, бабушка, как новое платье короля, как утро стрелецкой казни, как душонка загубленного тобой прощельги!), хочу выразиться напрямик. Хотя вообще-то ни о каком везении речи здесь идти не может, но для экономии времени пусть будет использовано это слово. Поправка в плане твоих действий будет следующая. Час пути по дневному лесу

– это недостойно имени подвига. Сменим сцену. Ты сейчас сойдёшь с поезда...

– Но ведь ещё две станции! – воскликнул я горестно, будто подстреленный ястреб, но никто не снизошел к горечи детского крика:

– Ты сейчас сойдешь с поезда, – с нажимом повторила бабушка, – и леском проберешься на эту свою дачу. Вечереющий лес – вот подходящие декорации для встречи с твоим визави.

Нельзя сказать, будто я обомлел и мне было нечем ответить на её извилистое повеление, но ведь я, слава Богу, уже взрослый *индивидуум*, годами кропотливого вчувствования обучившийся на глазок отмерять – и отмерять безошибочно, вдохновенно! – тот зыбкий предел, за которым одно мизерное передвижение градуса желания замораживает последовательный ракоход чужих уступок в лёд непримиримого, если только не яростного отказа. Поэтому я счёл за благо промолчать, исподволь, каким-то самым глубоким корешком своей души надеясь на то, что смиренное молчание подвигнет бабушку, растроганную моей покорностью, приспустить на тормозах излишне суровое решение. Увы, бессмысленно продолжал стучать прямо в уши мёртвый поезд, расхлябанный во всех своих суставах, бессмысленно продолжал одаривать массивным своим стуком весь человеческий материал, несомый им, как микрофлора, в железно-дерматиновой полости своего тела, пока не подвернулась справа,

будто бы неожиданно, будто бы внезапно и случайно, плотно сомкнутая гряда бетонных плит, составляющая перрон, и лишь тогда он неторопливо сбавил ход, всё больше увязая в скудной земле, проседающей под гильотинами его колёс, пока, наконец, не застыл, усмирённый, как вкопанный. И вот в тот крошечный временной проём, отделяющий его движение от его же собственной неподвижной омертвелости, холодная рука безжалостно и брезгливо вытолкнула меня из этой передвижной берлоги в оскорбительно светлый, угрожающе-красивый мир. Несколько времени я приноравливал окоченевшее тельце к этому теплу и расправлял сжатые полутьмой зрачки навстречу летнему свету, а когда, наконец опомнившись, в смятении обернулся, то увидел тёмно-зелёный состав, сделавший уже своё первое, мучительно-трудное движение, и в удаляющемся дверном окне – кристаллически-строгое, скованное льдом лицо.

Лето, окутанное уже дымкой увядания, было щедро на благородное – ласкающее и участливое – тепло, которое реяло над землёй, как парус в немом кино, чьё замедленное колыхание под порывами невидимого ветра свидетельствует о его аристократическом презрении к случайностям атмосферной перистальтики, – но даже несмотря на это, мне было всё ещё холодно в своём пальтишке. Я уныло сел на лавочку, всё ещё ни о чём не думая, и с полной безучастностью принялся за изучение подлежащей местности: небо, облака, кусты спереди, платформа, лавочки, рельсы, рельсы, плат-

форма, лавочки, кусты сзади. Нет, что-то невесело, а самое главное – скучно. Попробуем иначе: гравий, шпалы, рельсы, бегущие вправо, та же пара рельс, убегаящая влево, верхушки жидких рошиц по обе стороны. Нет, не складывается. Не сцепливается одно с другим в ту величественную обязательность, в которой могущественный мир топит всех нас, жалких, несамостоятельных, вопиюще неразумных. Да больше того – не верю я, чтобы вся эта чепуха, столь покладисто исчерпываемая перечислительной интонацией, одолела меня, пусть маленького, но проворного, а не косного, пусть несмышлёного, но зрячего, способного видеть и назвать их, в то время как они, слепорождённые и немые, никогда не увидят и не назовут меня. Неправильно свинчена эта наша земля, халтурно и почти наобум, если даже такой малец, как я, видит всё её возмутительное несообразие. Пока я сидел, с другого конца платформы появились ещё какие-то люди, с таянками и граблями, заботливо укрытыми тряпьем, с бутылками пива в руках, по-птичьи оживлённые и разговорчивые, мучимые приступами хохота и вдохновенной ругани. К этому времени я уже вполне согрелся, и в подошедший поезд шагнул совсем без дрожи, с тёплыми и отныне навеки сухими ладошками.

Вскоре я въехал в Михнево, тот самый небольшой городишко, где мне суждено было увековечить своё имя. Долго-долго переходил я мост, соединяющий через полотно железнодорожных путей кирпично-каменное тело города с ма-

ловразумительным деревянным аппендиксом, за чьей спиной начинались обросшие диким злаком поля, в которых утоплены крохотные наделы обработанной земли с созревающими в её чреве плодами картофеля, свеклы и репчатого лука, а сразу за этими полями, после прозраченькой дымчатой рощицы и пустынной одноколейки расстилалась тёмная чаща с едва различимыми, будто водяные знаки на банкноте, тропинками, вкривь и вкось ведущими путника к окраине чаемого мною дачного посёлка.

Я мужественно прошел узкими, как траншеи, древесными улицами к открытому простору одноцветных полей, и если не при первом, то определённо начиная с третьего взгляда на унылую эту флору, уже начавшую предусмотрительно подсыхать в предчувствии неизбежной якобы осени, мне задышалось легко, будто перед смертью. Я шагал по дорожке, протоптанной «узиками» и коровами, не слыша себя и своего страха, увлечённый той авантюрной лёгкостью, которую дают наплывы настоящего на травах ветра и щебет невидимых птиц, растворённых в воздухе, земле и окрестных деревьях.

А хорошо ведь, правда, когда птичка так голосом играет? Мне бы так. Хотя, кто знает: скучал бы я, как она – может, и научился так же горлышком делать. Скука – это великая милость и неисчерпаемый кладёзь вдохновения, и, ей-Богу, есть и в моей обделённости этим вдохновением что-то обидное до слёз: ведь в те сладкие часы скуки, снисхо-

дившие на меня пару-тройку раз в протяжении детства, я выучился туманности распылённых по листу букв слагать в цепкие ряды слов, я открыл, как Америку, акварельные краски и радость перводемиурга, броуновское движение забавных случаев свивающего в медленный и сладкий смерч захватывающей сказки, которую даже Марина Николаевна и Раиса Евгеньевна, мои детсадовские воспитатели, вынуждены слушать открыв рот. Обделённость скукой – это, конечно, наследственное, это, конечно, избыток маминых генов, ведь именно ей, бедной моей мамочке, в мутной своей задумчивости успевающей тридцать три раза на дню поговорить с пустотой, не суждено познать счастья тоски...

Нет, всё-таки интересно: что же это птичка со своим горлышком делает?

И я вошёл в лес, как в тёплую воду. Чуть двигались вокруг малахитовые листочки; стволам деревьев, переколдованным стремительно соскользнувшим с зенита светилом в нефрит или янтарь – в зависимости от персональной удачливости – невозможно было казаться более строгими, как невозможно было никому в этом мире взять ту планку спокойствия, которая мною была взята без разбега, одним широчайшим рывком души. (Боже мой, как я всё-таки вырос за этот день, как было бы хорошо вернуться когда-нибудь домой вот таким, благородно повзрослевшим, в беретике, лихо сдвинутом с точки равновесия.) Невыразительная тропинка, ослабшая под натиском лесных растений, крутятся и забалтываясь,

медленно вела меня, и впервые, быть может, за всю свою жизнь мне страстно возжелалось, чтобы медленность стала ещё медленней, чтобы она замедлилась до полной обездвиженности: ведь с каждым моим шагом дачный посёлок приближался, а встреча с Серым волком, ещё на опушке леса столь реальная, неуклонно откатывалась в тень, отбрасываемую кровлей несбыточности.

Я вышел к самому посёлку, но, увидев уже первые дома, крепкими телами наступившие лесу на пятки, свернул на боковую, совсем пунктирную тропку и проблуждал под лучами убывающего солнца ещё добрую половину часа. Не было его. *Как корова языком слизнула.* В самом деле, как же это я не подумал: ведь, возможно, он целый день спит, а на прогулку, как любой хищник, отправляется ночью? От этой мысли, оскорбительной своей очевидностью, мне на секунду сделалось жарко, и я, в три шага одолев приличный кусок леса, промчался сонными улочками, еле успевая огибать углы выпирающих домов, завернул раз, другой, третий, вышел на финишный отрезок (куча песка, водонапорная дылда, потертый «фольксваген», приткнувшийся к воротам лоб в лоб) – наконец, насквозь пролетев садик, открыл дверь, наскоро стерев о половику налипшую на подошвы труху, ворвался в кухню, которой, как эпиграфом, открывался Асин дачный домик, и с порога, тёпленьким, был подхвачен низким, приятным голосом:

– Ну наконец-то, голубчик. А я уже, право, заждался.

Конечно, он не мог не заждать, памятуя о моём бесполом кружении меж осин и клёнов, и он, сложнейший, не мог почтить меня больше, нежели выговорив свою мысль столь обескураживающе просто, ибо любому известно, что просто говорят лишь дети, идиоты и те, чьё сердце наполнено радостью. Поэтому вместо того чтобы испугаться, я облегчённо выдохнул и, сдерживая рвущееся от недавней спешки дыхание, выдавил искусственно выровненным голосом:

– Я торопился.

Он сидел на стуле рядом с обеденной тумбочкой и был виден полностью, от головы до хвоста, скроенный в ателье Господа Бога по столь впечатляюще индивидуальным лекалам, что оторопь восхищённого страха должна бы молнией пронзить любого среднечеловеческого обладателя белкового тела, рикошетом взглянувшего на моего визави. И было отчего. Раскроем алфавит, чтобы случайность, неутомимая труженица, помогла, хватко выхватив из него горячие, как каштаны, но пока не причастные ни к чему буквы, тремя высокоточными мазками набросать абрис нашего гостя. Итак, четыре, одиннадцать, девятнадцать⁵ – вот наш лотерейный поводырь: Глаза, прикрытые той плёнкой старческой нездешности, что сближает их вдруг, но обоснованно с марсианским минералом, обожжённым на медленном огне тысячелетней мудрости; куриные Ноги, залихватски закинутые од-

⁵ Г, Н, Х в алфавите не «четыре, одиннадцать, девятнадцать», а «четыре, пятнадцать, двадцать три».

на на другую; рыбий Хвост, где плотно друг к другу пригнанная чешуя серебряной кольчугой в неуязвимость обращала нежное тело⁶. Закроем алфавит: он не понадобится нам более.

– Подойди-ка поближе, – попросил меня Волк, и когда я, смущённый, решительный, нерешительный, шагнул к нему, он, одним цепким прищуром словно бы запечатлев меня в полный рост, строго проговорил: – Ты зачем же бабушку обманул?

Изо рта у него пахло цветами, и в душном воздухе, роившемся в стеклянно-деревянной коробочке, этот пронзительно-тёплый аромат словно бы приоткрывал щёлочку из сумеречной спальни в ярко освещённую гостиную.

– Я ничего не обещал ей.

– У-у, маленький, такая наивность тебе не к лицу, и, будь она искренней, я счёл бы это оплошностью бóльшей, нежели твоё возмутительное пренебрежение возложенной ответственностью, ответственностью, повторяю, чей груз ты столь легкомысленно попытался не заметить. Для тебя, возможно, это и окажется новостью – что, впрочем, никак не может послужить поводом для оправдания, – но ведь мы вместе – и ты, и я – части одной истории, которую некто мудро-коварный, о чьём существовании я смутно догадываюсь, прини-

⁶ Волка такой экзотической внешности не встречается ни в одном из [доступных пользователю Интернета] бестиариев. Ближе всего к описанию крофенольф – но он имеет крылья. Чешуйчатая броня роднит Волка с главным героем позднего романа Грачёва «Барокко» – антропоморфным крокодиллом Кро.

мая во внимание хотя бы факт удивительной сцепленности моей речи, безо всяких на то усилий с моей стороны сжатой в точку абсолютной точности, но обратиться к кому я могу лишь здесь, на этой веранде, декорированной под интерьер чеховской пьесы. Так вот, снова произнося неизвестное тебе слово «ответственность», я одновременно **объясняю** и **уверяю**. **Объясняю** тебе, что твоё опрометчивое непослушание изъяло изрядный кусок той истории, в которой мы оказались повелением чужой царственной фантазии, оставив после себя, таким образом, внушительную дыру, залатыванием которой я сейчас спешно займусь; и **уверяю** могучий пристальный взгляд, вознесённый высоко над бумажным листом, что соломоново решение, считающееся, с одной стороны, с тем грехом, каким является убиение нерождённой истории, и – с другой, более сложной стороны – с неизбежностью её счастливой концовки, уже тщательно выпестовано. Конечно, малыш, твоё сумасбродное желание не может не быть выполнено, и завтрашние календари, к вящему изумлению их владельцев, повсеместно перекинутся с двадцать третьего августа на первое июня. Но вместе с тем ты наверняка понимаешь, что несправедливо было бы оставить твой проступок без должного воздаяния. Итак, за де ло.

С этими словами Серый вытащил из какой-то не замеченной мною пазухи своего тела крупный старый будильник с бугристыми боками цвета начищенной латуни.

– Держи. Он уже стоит на семи утра, чтобы тебе не про-

спать. Вот билет на завтрашний экспресс до Варшавы. Там тебя встретят и вручат обратный билет, после того как ты передашь вот этот небольшой пакет.

– Что это? – спросил я автоматически, ощупывая плотную промасленную бумагу. Серый, по видимости, не ожидавший вопроса, споткнулся о своё последнее слово, но, тут же опомнившись, недовольно буркнул, несколько притушив интонацию:

– Сушёные заячьи лапки. – И, помявшись ещё мгновение, неохотно добавил: – Бегал тут один заяц...

– Спасибо, – тихо проговорил я. – У меня тоже для вас есть кое-что.

– Конфетка? – он зорко, словно фотографируя на долгую память, взгляделся в этот обманчиво-невинный сгусточек, обёрнутый разлюлималиновым фантиком. – Благодарствую. Дома откушаю с чайком...

Он замолчал, и в наступившей тишине, цельной, словно только что снесённое яичко, лишь будильник, методичный, как дяк, отчитывающий покойника, пробивал еле заметные трещинки. Соревнуясь в покорности судьбе, мы оба, чемпионы тактического лицемерия, глядели друг на друга затаив дыхание, пока, наконец, волк не промолвил, сквозь свои минералы пристально изучая мои живые карие глазки:

– Дай-ка руку, погадаю.

Я протянул. Он долго изучал мою ладонь, и чем дальше он вглядывался в эту карту укрощённого провидения, тем оза-

боченной сдвигались его державные брови, всё больше сжимая натруженную мыслями переносицу. Потом он дунул в ладонь: набрал щеками цветочного своего, цветного воздуха и дунул: ничего, кроме приятной теплоты, я не ощутил. [Серый] тяжело встал на задние лапки, вздохнул и вышел, бережно прикрыв за собой тщедушную дверь.

Вот и всё, сказал я себе. Вот и всё. Взглянул на ладонь и увидел, что она теперь беззащитная, голая, без единой морщинки, и пока моё работающее ровно безразличие методично примагничивало к себе этот бесполезный факт, дверь открылась, и, чуть сгибаясь в притолоке, снова вошёл он, в нимбе какого-то совсем нового цветочного чада.

– Совершенно забыл. Это твоё, – и он протянул что-то незначительное, совсем крошечных размеров, которое, очутившись в моей руке, оказалось обыкновенной пуговицей. Я приставил её к одной из уцелевших товарок и заметил – как странно это было обнаружить! – что рука моя дрожит. Так и есть, нижняя пуговица от моего нелепого пальтишка. Волк легонько усмехнулся и, уже прикрывая дверцу, спросил с грустной улыбкой:

– Как тебя зовут-то?

– Тимофей, – прошептал я.

– Как?

– Тимофей, – ответил я, проглотив наконец эту несносную колючку чертополоха, застрявшую в горле. – Что тут непонятного? – И повторил: **Ти-мо-фей.**